

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПИСАТЕЛЕЙ И СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ В 1930-е ГОДЫ¹

© 2008 г. Л. Ф. Кацис

В статье освещаются неизвестные или недостаточно изученные страницы истории взаимоотношений О. Мандельштама, Б. Пастернака, Д. Бедного, И. Сельвинского, а также Л. Фейхтвангера с партийными и государственными руководителями. Устанавливается внутренняя связь между отдельными и, казалось бы, разрозненными эпизодами общественной и литературной жизни. Используются недавно опубликованные документы из архива И.В. Сталина, советских партийных архивов и личного архива Л.М. Кагановича.

The article brings to light those facts in the history of relations of Ossip Mandelshtam, Boris Pasternak, Demyan Bednyy, Ilya Selvinsky, as well as those of the German writer Lion Feichtwanger, with Soviet state and party leaders that have been either unknown or inadequately studied yet. A closer connection between particular – seemingly disconnected – episodes of social and literary life of the period is established. Recently published documents from Stalin’s archive are used as well as materials from Party archives and a private archive of Lazar Kaganovich.

Взаимоотношения писателей и вождей советского времени, приведшие к созданию таких произведений, как “Батум” М. Булгакова, “Все наклоненья и залог...” Б. Пастернака или “Когда бы уголь взял для высшей похвалы...” О. Мандельштама и ряда других, многие годы привлекают внимание исследователей. Однако до самого последнего времени эти взаимосвязанные между собой сочинения рассматривались историками литературы как бы извне реальной истории прямых контактов поэтов и вождей, контактов, которые нередко превращались во взаимоотношения поэтов и палачей. К такого рода работам относились и две наши статьи [1, с. 106–119; 2, с. 94–101], продолжением и развитием которых в новой научной ситуации и является предлагаемое исследование. Его принципиальное отличие от предыдущих заключается в том, что оно основывается на ряде документов из архивов И.В. Сталина и Л.М. Кагановича, ставших доступными лишь недавно и существенно меняющих привычную картину. Причем интересно, что к числу материалов, сохранившихся в этих архивах, относятся даже неизвестные или не введенные до сегодняшнего дня в научный оборот художественные произведения вместе с дискуссиями по их поводу, которые велись в служебной переписке советских вождей, с одной стороны, и закрытых обращений к вождям поэтов и писателей 1920–1930-х годов, с другой.

¹ Работа подготовлена в рамках исследовательского проекта, поддержанного РГНФ (грант 050404-362а).

I

Говоря о Мандельштаме 1930-го и последующих годов, необходимо помнить, что все с ним происходившее имело место после знаменитого “дела Уленшпигеля”, когда Мандельштам был не только обвинен в неправомерном использовании чужого перевода романа Ш. де Костера, но и оказался внутри большого политического скандала, который нашел свое отражение даже в газете “Правда” [3, с. 93–96].

Тем интереснее тот факт, что его имя мы встречаем в проекте первого состава правления новообразующегося Союза советских писателей (1932). И документ этот, опубликованный В. Максименковым, восходит к личному архиву И. Сталина. Производит впечатление и сам список: “В апреле 1932 года при формировании ОК ССП он (Сталин. – Л.К.) вычеркнул из списка имен Александра Афиногенова, Михаила Шолохова, Бориса Лавренева и вписал вместо них Всеволода Иванова, Александра Безыменского и Лидию Сейфуллину. Он оставил нетронутым имя Березовского... Мандельштам был номенклатурным поэтом. Его имя было включено в список-реестр, который был подан Сталину в момент создания оргкомитета ССП в апреле 1932 года и который вождь со вкусом главного кадровика огромной страны исчеркал характерными цифрами, стрелками, фамилиями кандидатов” [4, с. 222, 250].

Это означает (даже с ослаблением публицистического напора Л. Максименкова), что через три–четыре года после переводческого скандала имя О. Мандельштама было вполне достойным

для вхождения в заветный список. Более того, те писатели, которые не попали в него, срочно писали И. Сталину письма с требованием объяснить факт их невключения. А вождь отвечал, что сам этот факт не говорит об утрате доверия к тому или иному писателю. Об этом свидетельствует хотя бы письмо Кирикова, не попавшего в состав секретариата ЦКП, Сталину и Кагановичу и ответ драматургу 13 августа 1933 г. [5, с. 299–300].

Следовательно, не напиши О. Мандельштам своей “эпиграммы” “Мы живем, под собою не чуя страны...”, он, при определенных обстоятельствах, мог бы сохранить свое место в иерархии ЦКП и в 1934 г., когда съезд все же состоялся. Ведь это был период относительной либерализации литературной жизни после роспуска РАППа и перед очередным “замораживанием” ситуации после убийства С.М. Кирова. Однако на последнее событие Мандельштам реагировал уже в воронежской ссылке.

На этом фоне особенно интересны две записи в дневнике К. Чуковского от 16 и 21 августа 1932 г.: «Еще так недавно Дом Герцена был неприглядной бандитской берлогой, куда я боялся явиться: курчавые и наглые рапы били каждого входящего дубинкой по черепу. Теперь либерализм отразился и здесь... Редактор “Лит. газеты” Усиевич захотела со мной познакомиться, пригласила меня по телефону к себе. Либерализм оказался и в том, что у меня попросили статью о Мандельштаме. “Пора этого мастера поставить на высокий пьедестал”. И чуть позже: “Любопытно наблюдать теперь жизнь “Литературной газеты”. Теперь ее руководители стремятся сделать ее наиболее либеральной: заказывают статьи о Зощенке, об О. Мандельштаме, о моем “Крокодиле”. Но позиция ее трагически беспочвенна. Рапповщина рвется из всех щелей» [6, с. 487, 490] (Курсив наш. – Л.К.). Выделенные слова Е. Усиевич, записанные Чуковским, как бы предсказывают дальнейшую основную проблематику споров о литературе на Первом съезде писателей 1934 г., когда именно проблема “ремесла” и “мастерства” вышла на первый план [7, с. 267–288].

Столь политизированный подход к биографии и творчеству Мандельштама может показаться сомнительным. Однако некоторые исследователи допускают и куда большую включенность поэта в политическую жизнь страны. Так, по словам О. Ронена, «обстоятельства времени, и образа действия объясняют тематику и тон стихов Мандельштама (“Мы живем, под собою не чуя страны...”, 1933 – Л.К.), но не тактику его поведения или то, чего он хотел достичь и на что надеялся. Как понять, в особенности, его слова, приводимые в воспоминаниях Эммы Герштейн?

– “Это комсомольцы будут петь на улицах! – подхватил он сам себя ликуя. – В Большом те-

атре... на съездах... со всех ярусов... – И зашагал по комнате.

Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился:

– Смотрите – никому. Если дойдет, меня могут...РАССТРЕЛЯТЬ!”» [8, с. 51].

Безоглядный поступок поэта О. Ронен связывает с надеждой на изменение курса партии в преддверии XVII съезда ВКП(б): “Откуда Мандельштам черпал мечту о грядущей победе самих коммунистов над Сталиным и о своем окончательном торжестве?” На этот вопрос он отвечает, вспоминая проклятого Сталиным в “Кратком курсе истории ВКП(б) Мартемьяна Рютина и его антисталинский “Союз марксистов-ленинцев”: «Может быть, инвектива Мандельштама останется единственным долговечным напоминанием о неудавшемся замысле... Между героическим выступлением Рютина и съездом “победителей” был промежуток, когда борьба Сталина и его противников не казалась предпрешенной... Вот этот год негласной, но яростной политической борьбы получил выражение в сатире Мандельштама» [9, с. 247, 254].

Автора этих строк не смутил и не заинтересовал тот факт, что Мандельштам оказался информированным о более чем тайных пружинах внутрипартийной борьбы (о разгроме группы Рютина было сообщено в октябре 1932 г. (ср. [10, с. 145–146]), вышедшей на историческую поверхность лишь в годы Перестройки. Тем не менее приведенное суждение весьма показательно: оно отчетливо выражает стремление исследователя включить поэтическую инвективу Мандельштама в острейший политический контекст (вне зависимости от того, насколько она – прямо или опосредованно – связана с делом Рютина). Мы же, со своей стороны, обратим внимание и на политическую обстановку тех лет, когда создавалась мандельштамовская ода Сталину (1937).

И здесь интересно одно обстоятельство, еще не вполне оцененное исследователями.

Н.Я. Мандельштам, говоря о хлопотах за арестованного Мандельштама в связи со стихами “Мы живем, под собою не чуя страны...”, упомянула источник знаменитой строки “Его толстые пальцы, как черви, жирны...”: «... в 1934 г. я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день... но Демьян как будто уже кое-что знал. “Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя”, – сказал он Пастернаку... Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться, или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных? Возможно и то, и другое... Во всяком случае, Демьян сам

уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника» [11, с. 34–35].

Не стоит забывать также, что просьба, обращенная к Демьяну Бедному, вовсе не была просьбой к благополучному кремлевскому бонзе. К моменту ареста Мандельштама у Демьяна Бедного были уже крупные неприятности, о которых он писал лично Сталину в связи со своим выселением из Кремля, имевшим место в сентябре 1932 г., правда, с последующим обещанием Сталина сохранить кабинет и библиотеку поэта-агитатора [5, с. 246–249]². А затем, вскоре после очередного “помилования” на новый, 1936 г. (в ноябре), подверглась разгрому опера “Богатыри” по сценарию Демьяна Бедного, поставленная Таировым на музыку Бородина, причем стенограмма беседы с разбитым неудачей автором была послана Кагановичу, а о беседе с поэтом сообщили Н.И. Ежову [5, с. 431–440]. Поэтому однозначно оценить роль и место личности и текстов Демьяна Бедного в истории с Мандельштамом невозможно. Здесь следует учитывать каждый поворот партийной политики 1934–1937 годов.

На этом фоне особое значение приобретает еще одна публикация в сборнике “Большая цензура”, которую Л. Максименков напрямую связал с именем Мандельштама, но на сей раз со стихотворением “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...”. Вот начало письма Демьяна Бедного Сталину от 27 августа 1924 г., после того, как поэт принял неподписанную Г. Зиновьевым статью в “Правде” за сталинский текст, восхвалил его в письме вождю, однако получил в ответ разнос. Итак:

«Родной!

Я не могу похвалиться, что знаю вас “вдоль и поперек”. Да это, пожалуй, и неосуществимо. Чего бы вы тогда стоили? Но до какой-то невозможной степени “постыжение Сталина” должно дойти, и быть мне без этого никак нельзя, поскольку вы для меня “стержневой”, “осевой” друг. Во всех смыслах» [5, с. 84].

К этому месту Л. Максименков дает следующий комментарий: «Едва ли не первое упоминание в русской литературе советского периода геометрических метафор в применении к образу Сталина. Геометрию образа до совершенства доведет Осип Мандельштам в “Оде” (январь–февраль 1937 г.): “Я б рассказал о том, кто сдвинул

мира ось”, “и я хотел бы стрелкой указать на твердость рта”, “ловить лишь сходства ось”, “ворочается счастье стержневое”...» [5, с. 84–85].

Сделав это смелое и верное предположение, Л. Максименков, однако, не сопоставил источник стихотворения “Мы живем, под собою не чуя страны...” с предложенным им самим источником “Оды” и не учел, что Мандельштам, как видно, был достаточно близок к Демьяну Бедному, если ему стал известен столь интимный факт политической биографии поэта. Или, в иной постановке вопроса: не с 1924 ли года было всё это известно Мандельштаму? Ведь тогда и имя Сталина еще не было именем небожителя, да и имя Г. Зиновьева звучало совсем не так, как в 1937 г.

Более того, если образы “Оды” были сознательно ориентированы Мандельштамом на образность знакомого и, возможно, памятного “зиновьевского” письма Демьяна Бедного Сталину, то интимность обоих текстов Мандельштама, пусть и с противоположными знаками, обращенных к тому, кто стал Лениным сегодня, становится пугающей. Однако не было ли подобное поведение достаточно типичным для тех писателей, поэтов и критиков, кто в принципе мог бы быть включен в списки руководящих органов ССП, либо тех, кто как, например, защитники Мандельштама – Демьян Бедный и Пастернак, – имели возможность прямых обращений к вождям ВКП(б) в середине 1930-х гг.?

Для ответа на этот вопрос принципиально важным оказывается как поиск тех источников “покаянных” стихов Мандельштама, которые Н.Я. Мандельштам объединила когда-то во вторую “Воронежскую тетрадь”, так и установление поводов к написанию тех или иных стихотворений Мандельштама или даже целых мотивных и образных узлов, которые, как мы предполагаем, связаны с важнейшими политическими и литературно-политическими событиями в жизни страны середины 1930-х годов. К их исследованию мы и перейдем.

Двумя важнейшими событиями интересующего нас периода были, безусловно, Первый Всесоюзный съезд писателей 1934 г. и Минский пленум Союза писателей 1936 г. Причем на съезде имя Мандельштама открыто назвал в своем выступлении Алексей Толстой и скрыто процитировал Николай Тихонов, а на пленуме, как известно, Пастернак произнес тост “за замечательного поэта Мандельштама” [12, с. 35]. Разумеется, выступления на открытых заседаниях писательских собраний публиковались в газетах, к тому же в Воронеж приезжала Анна Ахматова, да и Н. Мандельштам довольно регулярно бывала в Москве. Поэтому и такие эпизоды, как тост Пастернака на банкете, Мандельштаму могли быть известны.

² Интересно, что выселение Бедного из Кремля в сентябре 1932 г. пришлось на время между апрелем, когда Сталин оставил Мандельштама в списке ОК ССП, и октябрём того же года, когда вождь встречался с писателями.

Произошли на съезде и на пленуме еще два события, которые не привлекали до сих пор к себе внимания. И связаны они с людьми, чьи имена не кажутся существенными для биографии Мандельштама. Это Демьян Бедный и Илья Сельвинский.

II

Прежде всего рассмотрим контекст речи Демьяна Бедного на Съезде писателей. Она, как указывает Л. Флейшман, была, по сути дела, прямым ответом на статью Л.Д. Троцкого: “В докладе Н.И. Бухарина в 1934 г. поэзия Д. Бедного была квалифицирована как анахронизм, и отразившееся в этом старое пренебрежительное отношение партийных лидеров к ее художественным достоинствам слилось с недавней заупокойной оценкой в статье Л.Д. Троцкого...” [10, с. 435]. В “Бюллетене Оппозиции (большевиков-ленинцев)”, пишет Флейшман, «...в частности, утверждалось: “Демьян – не поэт, не художник, а стихотворец, агитатор с рифмой, но очень высокого пошиба”; “Нет, Демьян – это вчерашний день!”» [10, с. 435] (со ссылкой на [13, с. 18–19]). Отсюда заявление Д. Бедного на съезде: “Я вышел на трибуну исключительно для того, чтобы показать, что я еще не умер” [10, с. 435] (со ссылкой на [14, с. 490]). Эти слова Демьяна Бедного вызывают в памяти знаменитые строки Осипа Мандельштама: “Я должен жить, хотя я дважды умер...” (апрель 1935 г.)

Интересно отметить: речь Демьяна Бедного была произнесена вечером того же дня, что и утренний доклад Н. Тихонова о ленинградских поэтах, где прозвучала цитата из Мандельштама: «В начале революции один старый поэт, думая о поэзии современной и о путях ее развития, рассуждал так: “Синтетический поэт современности представляется мне не Верхарном, а каким-то Верленом культуры. Для него вся сложность старого мира – та же пушкинская цевница. В нем поют идеи, научные системы, государственные теории, так же точно, как в его предшественниках жили соловьи и розы”. Но ведь дело не в том, что память заново возвращает когда-то бывшие события и они, вступая в мир образов, получают *новую убедительность поэтического слова*, произнесенного в *процессе узнавания старого в новом*» [14, с. 505].

В этом месте доклада отразились, кажется, слова Мандельштама о “выпуклой радости узнавания...” и даже идея “возвратности поэтической материи” из “Разговора о Данте”. В свое время нам уже приходилось писать, что текст “Разговора о Данте” был знаком Б. Пастернаку, о чем свидетельствуют “известинские” стихи, опубликованные 1 января 1936 г., “Мне по душе строптивый нор...” [15, с. 213–224]. А этот цикл, как и

“Волны”, отозвался, в свою очередь, в стихотворении Мандельштама “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...”.

Не исключено поэтому, что какие-то обертоны речи Н. Тихонова на съезде можно услышать и в стихах Пастернака, безусловно, обращенных к Мандельштаму и напечатанных в тех же “Известиях”. Известно, что стихи “Я понял все живо...” со строками: “Спасибо предтечам, / Спасибо вождям. / Не этим, так нечем / Отплачивать нам” и “И смех у завалин, / И мысль от сохи, / И Ленин, и Сталин, / И эти стихи” – были написаны Пастернаком по просьбе Бухарина в благодарность за перевод ссыльного Мандельштама из Чердыни в Воронеж. В авторском примечании к снятым впоследствии строкам Пастернак писал: «разумел Сталина и себя. Было напечатано в таком виде в “Известиях”. Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было радостью для него... Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон» [16, с. 402].

Поэтому есть смысл сопоставить знаменитые строки Пастернака:

И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосой фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал,–

со словами Н. Тихонова на съезде, обсуждавшими анонимную цитату из Мандельштама: «Советский Союз отнюдь не представляется “царством духа без человека”, где каждое явление говорит о своей метаморфозе. Кроме того, советская поэзия имеет одно существенное отличие. У нее главный герой – строитель бесклассового общества, это – положительный герой, как бы ни мал или как бы велик он ни был» [14, с. 505].

Кстати, в дальнейшем Тихонов говорил и о Пастернаке, и о Сельвинском. В следующем, уже откровенно антибухаринском, выступлении А. Сурков прямо указывал, что Пастернак – “неподходящая точка для ориентации молодых поэтов в их росте”. А к Пастернаку пристраивался и критикуемый им Сельвинский [14, с. 512]. Закончил же свою речь Сурков обещанием поэтов встать в воинский строй. Сразу заметим, что об этом в конце своей речи скажет и Демьян Бедный.

В речи Демьяна Бедного заслуживает внимания не только фраза, что он “еще не умер”, но и то, что ей предшествует. Здесь мы увидим еще один мотив мандельштамовских стихотворений:

«Загляните в розданный вам текст печатного бухаринского доклада. Как там обстоит дело со мною? Бухарин взял труп Есенина, положил на меня этот труп и присыпал сверху прахом Маяковского. Точка. Покойся с миром! Поговорим о живых. И действительно, после этого идет раздел, крупно озаглавленный “Современники”. Я оказывается, уже – не бухаринский современник (*смех, аплодисменты*)». Именно после этого следует проанализированная выше фраза, а затем вновь: “В докладе – короткое дыхание, *какая-то непонятная оторванность от исторической, культурной почвы, на которой мы выросли*, от лучшей части того художественного наследия, которое у нас имеется. О нем Бухарин позабыл, выбросил его из современности” [14, с. 557] (курсив наш. – Л.К.). Ряд других вариаций этой темы мы не цитируем, но они лишь усиливают впечатление связи речи Бедного со знаменитыми строками Мандельштама:

Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Очередной эпизод выступления Демьяна Бедного посвящен творчеству Пастернака, которого Демьян вовсе не хочет осуждать за его косноязычную и не всегда понятную лирику. А в следующем разделе обсуждается вопрос, за каким лучом надо следовать советским поэтам: “Солнце нашей поэзии еще взойдет. У нас утренняя заря. И какая прекрасная заря! Яркая-алая. Но Бухарин старчески щурит глаза и отдает предпочтение не ярко-алым, а голубым и еще каким-то там более успокоительным лучам”.

Эти мотивы, естественно, в сугубо мандельштамовской обработке находим и в стихах:

О как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем...

Новый пассаж, откровенно задевающий, если не называющий Пастернака, отражает, на наш взгляд, как раз то событие, которое произошло 13 июня 1934 г. и привело к изменению положения Мандельштама. Описание некоего телефонного разговора (звонка “сверху”) вкуче с цитатой из Пастернака, указывает на его возможную связь с телефонным разговором Сталина и Пастернака о Мандельштаме после письма Сталину Бухарина. Демьян Бедный говорил: «Но надвигается гроза, да что гроза: телефонный звонок на редакционном столе Бухарина прозвонит об

остром событии – и редактор Бухарин немедленно станет мобилизовывать тех поэтов, которые способны мобилизоваться с боевой быстротой, потому что они – прежде всего бойцы. Для них поэзия не “двух соловьев поединки”. Они своими стихами участвуют в классовой борьбе, в поединке двух миров» [14, с. 558].

Еще один образ Д. Бедного также мог отразиться в стихах Мандельштама: “Советская провинция и центр – один живой неразрывный организм. Вся наша страна бьется одним пульсом со своим сердцем – Москвою, связана с ним радиосвязью. Какая тут провинция?” [14, с. 558]. Эти строки коррелируют со знаменитым мандельштамовским стихотворением о радио: “Наушнички, наушники мои...”, где бьют полночные куранты Спасской башни, а “язык пространства” сжимается “до точки”.

Теперь остается понять, как мог Мандельштам воспринимать судьбу и речь Демьяна Бедного в своей воронежской ссылке и особенно в период весны 1935 г., когда мы встречаем в воронежских стихах целый пучок образов из речи Бедного на Съезде писателей, до Минского пленума ССП 1936 г., дискуссии “О формализме”, Пушкинского пленума ССП февраля 1937 г. и, главное, до начала работы над стихотворением “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...” (январь–февраль 1937 г.).

Ответ на этот вопрос дает Л. Флейшман: «Со второй половины 1935 г. в официальном отношении к Д. Бедному наметился поворот. После длительного периода опалы Сталин пошел на сближение с поэтом и даже пригласил его к себе на празднование нового, 1936 года. Здесь Д. Бедного подстерегала неожиданность: как рассказывает сын поэта, “в эту ночь отец впервые услышал свою речь на Первом съезде писателей, записанную на пленку. Пленка почему-то оказалась у Сталина”. Симптомы высочайшей милости совпали с новой установкой на “народность” в искусстве» [10, с. 435–436] (со ссылкой на [17, с. 220]).

Необходимо отметить, что прослушивание у Сталина речи Демьяна Бедного, произнесенной на съезде писателей за полтора года до этого, удивительным образом совпало с моментом упоминавшегося выше выхода в свет стихов Пастернака из цикла “Несколько стихотворений” в номере бухаринских “Известий” от 1 января 1936 г. Оценить степень случайности этого совпадения мы пока не можем. Однако и само по себе оно знаменательно.

Вообще говоря, анализ подобных ситуаций представляет тем большую трудность, чем меньше мы знаем о “закрытой” истории взаимоотношений поэтов и вождей или о ситуациях на пленумах и других заседаниях ССП, которые не попадали в открытую печать. Ведь мы говорим о стихах,

которые должны были не только изменить судьбу Мандельштама, но и понравиться “лучшему читателю советских поэтов”. Часто подобные ситуации оказываются “поводами” к написанию того или иного сочинения. К сожалению, работа по определению подобных творческих толчков проводится довольно редко. Есть здесь и некоторые методические проблемы, которые нам придется обсуждать по ходу анализа.

III

Эту задачу несколько упрощает тот факт, что попытка установления “повода” к написанию “Стихов о неизвестном солдате” была предпринята О. Лекмановым, который писал: «... зададимся здесь только одним, вполне частным, но, думается, важным вопросом: каков был непосредственный повод к созданию “неизвестного солдата”? Вопрос этот, думается, не лишен смысла еще и потому, что Мандельштам, вопреки представлениям некоторых читателей, отнюдь не брезговал реагировать на актуальные, “газетные” события». Ответами на вопрос явились такие события, как годовщина Красной армии 23 февраля 1937 г. и два отклика на этот праздник: публикация в “Литературной газете” 20 февраля “Вступительного слова тов. Ставского на совещании оборонных писателей 12 февраля” и стихотворения Н. Заболоцкого “Война – войне” в “Известиях” от 23 февраля 1937 г. [18, с. 305].

Если “Стихи о неизвестном солдате” писались 1–15 марта 1937 г., то стихи “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...” создавались в январе–феврале 1937 г., следовательно, и повод для них должен был возникнуть раньше. На наш взгляд, этому способствовали как события вокруг Демьяна Бедного (1936 г.), изменившие его статус и отношение к его речи 1934 г., “известинские” стихи Пастернака и, естественно, Минский пленум ССП, где прозвучала не введенная до сих пор в научный оборот и ненапечатанная в свое время глава (в сущности, поэма) о Сталине Ильи Сельвинского, ставшая едва ли не одним из главных событий пленума.

Так, свое выступление на пленуме Безыменский начал с «упоминания только что законченной поэмы Сельвинского о Сталине, поздравив собравшихся с этой победой советской поэзии. Воодушевление Безыменского вызвано было тем, что достижение Сельвинского образовывало альтернативу разработке “сталинской” темы у Пастернака: в то время как Пастернак освещал ее в принципиально камерном, “интимном” ключе, Сельвинский обращался к “эпическому полотну”. Не решаясь открыто напасть на “известинские” стихи, Безыменский не только поспешил превознести новый опыт Сельвинского, но и построил свое выступление таким образом, чтобы

показать “ущербность” пастернаковских стихов о Сталине, их “несоветскую” основу» [10, с. 421–423].

Несмотря на то, что чтение Сельвинским его “Сталина” широко освещалось в печати, поэма эта не была опубликована, и до сих пор даже не была известна исследователям. Между тем, ее близость к “Оде” Мандельштама ничуть не меньше, чем близость поэмы Н. Заболоцкого к “Стихам о неизвестном солдате”. Однако история с текстом Сельвинского куда более сложна и необычна, чем случай со стихами Заболоцкого, которые все же были опубликованы. Не так давно мы получили возможность узнать, как сам автор “Сталина” оценивал свое сочинение в письмах в ЦК ВКП(б), и, главное, мотивы отказа в публикации поэмы в “Известиях”, в “Правде”, в “Новом мире”, причем реакция верхов была чисто внутренней. На письмо Сельвинского В. Молотову ответ получил не автор поэмы, а адресат письма.

Исключительно интересно и само письмо. Посвященное двухлетней истории попыток опубликования поэмы, оно в то же время прямо указывает на столь важное событие 1937 г., как приезд в СССР Лиона Фейхтвангера, его встречу со Сталиным (8 января 1937 г.) и выход в свет его книги “Москва 1937”, которая была сдана в производство 23 ноября и подписана в печать 24 ноября 1937 г. Следовательно, письмо Сельвинского Молотову было написано, действительно, по самым горячим следам политических и литературных событий.

Поэтому прежде, чем переходить к анализу поэмы Сельвинского, обратимся к его письму от 30.XI.37 г. В. Молотову. Это письмо адресат перенаправил тт. Кагановичу, Жданову, Мехлису. В Особый сектор НКВД оно попало 25.XII.37 г.³ [19, с. 99–100]. И в том же году был опубликован ответ Мехлиса тт. Молотову, Кагановичу и Жданову от 28.XII.37 г. [5, с. 494–496]. Особо отметим, что хронологически история поэмы Сельвинского совпадает со временем работы Мандельштама над “одой” (“Когда б я уголь взял для высшей похвалы...”) и “Стихами о неизвестном солдате”.

Таким образом, используя материалы партийных архивов, мы сможем получить более или менее адекватную картину динамики отношения властей к подносным одам Сталину, а также политических изменений, связанных со знаменитыми московскими процессами 1937 г. К тому же все произведения, о которых мы ведем речь, относятся к серьезному одическому жанру, а не к одам-однодневкам, сочинителей которых сегодня не вспомнит даже исследователь. Не так уж много произведений о Сталине, посланных наверх, осталось в истории литературы. Причем, за исключе-

³ В публикации явная опечатка в штампе НКВД – Особый сектор: 25.X.37. Речь может идти только о XII. 37 г.

нием “известинских” стихов Пастернака и его же переводов од Сталину грузинских поэтов, ни “Батум” Булгакова, ни поэма Г. Шенгели о Сталине (которую мы здесь не рассматриваем специально, хотя её образы близки к некоторым местам “Сталина” И. Сельвинского), ни сама поэма Сельвинского, ни стихи Мандельштама напечатаны не были. Эти произведения, действительно, принципиально отличаются от моря поделок, так сказать, восточного типа⁴. Сочинения, о которых мы ведем речь, отмечены искренним интересом писателей к Сталину и желанием их авторов проникнуть в некие глубины сознания Вождя, те самые, о которых писал ему в 1924 г. Демьян Бедный.

Сообщая Молотову, что восторженно принятая Минским пленумом поэма о Сталине не выходит в свет уже два года, что редакции требуют ее постоянной правки, но не печатают, Сельвинский касается наиболее интересного для нас вопроса: “В чем же дело, Вячеслав Михайлович? Нет ли здесь вредительства? Если бы речь шла о том, что высокоответственного качества тема “Сталин” требует и высокоответственного качества стиха, я первый приветствовал бы свои двухлетние мытарства, но тогда я почувствовал бы со стороны Главлита желание как-то помочь советскому поэту справиться со своей грандиозной задачей. Напротив, чувствуется желание уничтожить поэму как бы чужими руками, сам Главлит со мной не разговаривает, объявляется дело так, как будто возражения идут от самих редакторов, а, между тем, редакторы сами ничего в этом казусе не понимают” [19, с. 100].

Теперь мы имеем возможность заглянуть за кулисы событий и на примере Сельвинского уяснить, как власти относились к тем или иным художественным ходам “серьезных” од Сталину. Вот что пишет Л. Мехлис Молотову, Кагановичу и Жданову в ответ на письмо Сельвинского: «Даже в последнем варианте поэмы о Сталине, значительно исправленном, он все время величает Сталина Сосо. Он характеризует Сталина в молодости:

И вот – в пропитанной благодатью бурсе,
Где салом текли золотые бобрики –
К Энгельсу совершал экскурсии.

Так можно говорить о буржуазных интеллигентах, которые иногда совершали экскурсии к Марксу и Энгельсу. Сталин, как известно, изучал в молодости Маркса и Энгельса. Тов. Сталин рассказывал как-то, что он в молодости переписал от руки всё произведение Энгельса “Анти-Дю-

ринг”. Хороша экскурсия!» [5, с. 495] (подчеркивание Л. Мехлиса, курсив наш. – Л.К.).

Надо отметить, что далеко не только Сосо, но и Кобой, и “Нижарадзе”, и “Давидом” и т.д. величает Сталина Сельвинский. Это “величание” невозможно не соотнести со строками Мандельштама:

И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!

А знаменитые строки Мандельштама:

Знать, Прометей разжег мой уголек,
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу! –

в сочетании с предыдущими строками отзываются, похоже, на строки Сельвинского:

Горы... Они загорались льдом,
Были горячие воды...
Горы! Они говорили о том,
Что высота – свобода!
И к ним тянулись из тины чернил,
Бредя про молнии и про метели!
Был по-русски угрюм и уныл
Уезд в горах Прометей...

Возникает естественный вопрос, откуда бралась столь близкая и, в общем-то, предсказуемая образность “сталинских сочинений” конца 1935 г., ставшая неуместной в 1937 г.? Этот период «совпал с тем крутым поворотом в пропагандном изображении Сталина, который вытекал из принятой в 1935 г. доктрины “советского”, “социалистического” гуманизма. Осенью этого года впервые на семейную, домашнюю жизнь Сталина (дотоле наглухо закрытую для постороннего взора) был обращен неожиданно мягкий, интимный свет: газеты сообщили о приезде Сталина к матери в Тифлис, причем в интервью с Е.Н. Джугашвили, напечатанном 23 октября в “Правде”, рассказывалось вне всякого “революционного” пафоса – о детских годах “стального вождя”. Сразу вслед за этим был опубликован фрагмент книги недавно скончавшегося в СССР Анри Барбюса, где также акцентировался “домашне-интимный облик Сталина”. Не исключено, что именно воспоминания матери Сталина – Е.Н. Джугашвили и подвигнули Мандельштама на “интимизацию” мотива рождения и взросления будущего вождя» [10, с. 387].

Как мы теперь знаем, Сталину все это очень не понравилось, однако его недовольство было высказано лишь в письме тому же Кагановичу, которому, кстати, и переслал письмо Сельвинского Молотов: «По поводу этих публикаций Сталин

⁴ Подробно об этой разнице см. в книге Лазаря Флейшмана [10, с. 386–389] и в нашей дискуссии с И.А. Бродским [20, с. 46–49]. Полный текст дискуссии в магнитофонной записи хранится в архиве Мандельштамовского общества в РГГУ.

направил 29 октября письмо в Политбюро с требованием “воспретить мешанской швали, проникающей в нашу центральную и местную печать, помещать в газетах ‘интервью’ с моей матерью и всякую другую рекламную дребедень вплоть до портретов. Прошу избавить меня от рекламной шумихи этих мерзавцев”» [10, с. 387] (со ссылкой на [21, с. 617]).

Но если даже Сельвинский в Москве не знал всех перипетий внутриаппаратных взаимоотношений в ЦК по поводу правил описания и восхваления вождя, то Мандельштаму в Воронеже это было и вовсе непонятно. Поэтому, ориентируясь только на центральную печать или сведения из вторых рук, получаемые от редких визитеров или Н.Я. Мандельштам, он в своих “сталинских” стихах мог допускать ошибки, о которых и сам не догадывался.

Чтобы связь между поэмой Сельвинского и стихами Мандельштама стала еще яснее, процитируем еще одно место из поэмы, которое не обратило на себя внимание Л. Мехлиса:

...в Большом театре
Меж электрических колонн,
Когда на Первом колхозном съезде,
Пахнущем свежестью овощей,
Сталин сидел, читая “Известия”,
Скромнейший из скромных. Вождь вождей.
.....
И вот голов белокурая волость
Колышется в зале, как от струи,
Деревня с трибуны услышала голос,
Теплый голос своей страны.

А вот известные строки Мандельштама:

Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклетьвенном просторе.
И каждое гумно, и каждая копна
Сильна, убориста, умна – добро живое –
Чудо народное! Да будет жизнь крупна!
Ворочается счастье стержневое!
.....
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят...

Мы не проводим фронтального сопоставления поэмы Сельвинского о Сталине и стихов Мандельштама из-за того, что “творческая история” этого текста слишком сложна. Ведь в письме Мехлиса членам политбюро по поводу “Сталина” Сельвинского цитируются строки поэмы, которых уже нет в окончательном тексте, сохранившемся у Л. Кагановича. И тем не менее: «То, что сейчас Сельвинский выдает за поэму о товарище

Сталине, резко отличается от первоначального текста. Наиболее чудовищные, безграмотные места автор либо выбросил, либо смягчил. Вся вводная часть поэмы написана автором заново... Вот другое место из первого варианта поэмы:

В знаменах и стягах “Динамо” и “Сварза”
Они глядят, как языческий миф,
Музейной губчатую рыжего кварца,
Изрытого временем древних Фив.

И дальше:

И лоб его травлен, как нотная запись,
Но надо ж схватить черты этих линий,
Внутренний их порядок.
Кормчий – его называет Калинин,
Зодчий – его называет Радек.
А он – поэт!..» [5, с. 494–495].

Конечно же, имя поверженного Радека опытный аппаратный боец Мехлис вставил в свое письмо от 28 декабря 1937 г. не случайно. Понятно, что в тексте Сельвинского конца ноября 1937 г. его нет. Показательно, что и у Мандельштама отсутствуют какие-либо имена, кроме Ленина и Сталина-Джугашвили. Во всяком случае, после появления большего количества вариантов поэмы Сельвинского вопрос о соотношении его текстов как повода или даже подтекста “оды” надо будет поставить заново.

Но обратимся вновь к письму Сельвинского. В конце его поэт касается того самого вопроса о допустимой глубине проникновения в душу и образ Сталина, который ставил перед собой еще Демьян Бедный: “С другой стороны, я думал, что, может быть, сам Иосиф Виссарионович относится слишком щепетильно ко всему, что о нем пишут, и что может быть отсюда и происходят все мои злоключения с поэмой. Однако, вышедшая тиражом 200 000 экз. книга Лиона Фейхтвангера, говорит, что т. Сталин относится чрезвычайно терпимо к тому, как поэты и писатели представляют себе его внутренний облик. В чем же тогда секрет запрещения моих стихов о вожде?” [19, с. 100] (курсив наш. – Л.К.).

Если бы не упоминание имени Фейхтвангера, можно было бы обвинить Сельвинского в простодушии или глупости. Однако это абсолютно исключено. Ведь у Фейхтвангера Сельвинский увидел некоторые образы своей поэмы о Сталине, которые возникли у него (судя по цитатам из ее раннего варианта в письме Мехлиса) еще до написания знаменитой публицистической книги немецкого писателя “Москва 1937”.

IV

Итак, что же заставило Илью Сельвинского обратиться к Молотову и Кагановичу после запрета его поэмы “Сталин”? Тут нам придется коснуться обстоятельств прибытия в Москву немецкого писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера⁵. Он приехал после процесса Зиновьева-Каменева, на котором не дали возможность присутствовать Андре Жиду, написавшему по возвращении на родину антисоветский памфлет о жизни в СССР. А первая статья Фейхтвангера о процессе Пятакова-Радека (на нем писателю присутствовать довелось) датирована уже 25 января 1937 г. Чуть позже, в день опубликования приговора (30 января), появилась и другая статья – “Первые впечатления о процессе”. Сама же встреча Фейхтвангера со Сталиным состоялась 8 января 1937 г. [5, с. 444–460].

Фоном всех этих событий явилось начало публикации исторических романов Фейхтвангера в СССР, включая и наиболее важный для нас сейчас – “Лже-Нерон” [22], вкпе с публикацией в конце 1937 г. книги “Москва 1937”. Оба эти произведения, отразившие реалии сталинского социализма, итальянского фашизма и гитлеровского нацизма, заслуживают, как нам представляется, параллельного прочтения.

Что же хотел сказать Фейхтвангер своим романом “Лже-Нерон” о невозможности завоевания Римом терпеливого и непостижимого Востока? Неужели он стремился лишь проиллюстрировать давнюю мысль Киплинга: “Запад есть Запад, Восток есть Восток”? Разумеется, нет. Образы правителей с квадратными подбородками, получающих фации и топоры, недвусмысленно указывают на итальянский фашизм, с его эмблематичными “пучками” и римской символикой, и менее всего относятся к эпохе Нерона и его двойника. Более того, бросающиеся в глаза названия глав типа “Неделя острых ножей и кинжалов” практически неприкрыто называют “ночь длинный ножей”, когда Гитлер уничтожил своих не в меру ретивых соратников. (Этот эпизод лег в основу знаменитого послевоенного фильма “Гибель богов” Лукино Висконти, подтекстом которого были сюжеты и образы немецкой языческой мифологии в аранжировке Рихарда Вагнера.) Точно так же аналогом инспирированного гитлеровцами провокационного поджога Рейхстага становится в романе провокационное затопление Апаimei по приказу Лже-Нерона, в котором, однако, обвиняют тогдашних первохристиан.

Создается даже впечатление, что многочисленные фобии героев Фейхтвангера вольно или

невольно иллюстрируют современные автору теории З. Фрейда и К. Юнга, не слишком популярные в СССР, где фрейдизм был запрещен еще в конце 1920-х гг. Однако для человека, знающего европейский контекст 1910–1930-х гг., они не менее значимы и очевидны, чем “неделя ножей и кинжалов”.

Предпоследняя глава первой книги романа “Лже-Нерон” называется “Романтика и право на пенсию”. Право на пенсию старого римского слугаки нас сейчас не так интересует, как романтический культ ориентализации, который вновь возник в Германии на рубеже XIX–XX веков уже в совершенно особом варианте, связанном с идеей создания Еврейского национального очага в Палестине и с резкой активизацией германской восточной политики. Однако, как это часто бывает, история сыграла с Фейхтвангером довольно жестокую шутку. Романтизируя Древний Восток, который еще не был (в нынешнем смысле) арабским, писатель не мог знать, что противопоставляемый лже-Риму Гитлера современный Восток далеко не тот, каким был в древности. Наоборот, именно лидеры арабского освободительного и антиколониального, антианглийского и антифранцузского, движения охотно станут офицерами гитлеровской армии. Этот пример лишний раз показывает опасность заведомого осовременивания давних исторических событий и слишком прямолинейных романтических параллелей, когда явления далеко отстоящих друг от друга веков кажутся столь похожими.

И все же, что заставило Фейхтвангера выбрать для своего романа, который вышел по-немецки в эмиграции незадолго до его визита в СССР и был, естественно, известен приглашающей стороне, столь своеобразный сюжет, включавший в себя и св. Иоанна Богослова, и его Апокалипсис, и довольно откровенные намеки на то, что Лже-Нерон – антихрист? Чуть позже эта тема будет занимать Булгакова в его “Батуме” и “Мастере и Маргарите”. Пока же вопрос о законности власти ставит человек из-за рубежа.

В тех изданиях романа, которые содержат комментарии, равно как и в собрании сочинений Фейхтвангера, обычно поясняются исторические источники, которые назвал сам писатель в последнем абзаце книги: “Сведения о Лже-Нероне можно найти у Тацита, Светония, Диона Кассия, Зонары и Ксифилина, а, кроме того, в Апокалипсисе Иоанна и в четвертой из Сивиллиных книг” [22, с. 361].

А вот источник, не названный Фейхвангером. Это “Гиттин” – трактат Талмуда, в котором, как считают историки (от немецких – Г. Греца, автора “Всемирной истории евреев”, или авторов “Истории евреев Рима” Фогельштейна и Ригера – до современных), отразилась еврейская версия исто-

⁵ Напомним, что “сталинские” стихи Мандельштам писал до середины лета 1937, а сама “ода” создавалась буквально в дни приезда Фейхтвангера в Москву и в период Минского пленума ССП.

рии Нерона и последующих самозванцев⁶. В “Еврейской энциклопедии” Брокгауза-Ефрона говорится: “Согласно агадическому сказанию, войском, выступившим для усмирения Иудеи, предводительствовал сам Нерон. Желая узнать исход войны, он пустил стрелы по направлению всех четырех сторон света, но все стрелы упали по направлению к Иерусалиму. Следуя обычному способу гадания у евреев, Н. попросил мальчика произнести какой-нибудь библейский стих и получил в ответ: «И Я совершу мщение Мое над Эдомом (Римом. – Л.К.) рукою народа Моего Израиля» (Иезекииль, 25, 14). Тогда Н. испугался и сказал: “Господь желает разрушить Свой храм и меня сделать орудием Своим с тем, чтобы потом наказать меня”. Он бежал и обратился в иудейство; одним из потомков его был р. Меир».

Этот р. Меир умер, как говорит Талмуд, со словами, что умирает Мессия. “Энциклопедия” продолжает: «По-видимому, агада эта является откликом общенародного сказания, что Н. остался в живых и снова вернется на престол. Действительно, несколько самозванцев явились претендентами на имя Н. Одна из апокрифических книг, написанная во втором столетии, “Вознесение Исаяи”, предвещает возвращение Н.: “в последний день Белиал объявится в виде человека из царства нечестия матереубийцы”. В христианских легендах Н. является антихристом» [23, т. XI, с. 675].

Похоже, что именно эта сюжетная схема наиболее глубоко упрятана Фейхвангером в сцены встречи Иоанна Богослова с Лже-Нероном, которые, естественно, никак не могут быть документированы, но дают полный простор писательскому воображению и психологическому чутью.

Следует добавить, что в гитлеровской Германии христианская церковь подвергалась всякого рода гонениям, а в политической риторике и политизированной эстетике процветал культ языческого Рима в сочетании с нордической мифологией. Поэтому аллюзии романа легко прочитывались тогда и прочитываются сегодня, когда каждый желающий может увидеть “Триумф воли” Л. Рифеншталь и подобные, хотя и более слабые творения.

Проследим, как сцены романа, затрагивающие не только проблемы гитлеровского нацизма, но и реалии сталинского социализма, отразились в “Москве 1937”, источнике, который принято считать однозначно просталинским. Это сопоставление тем более важно, что в ходе встречи писателя со Сталиным звучали многие имена опальных, хотя еще и остававшихся на свободе советских вождей, судьба которых была пред-

определена и к моменту выхода книги в свет – решилась.

Очерчивая “культурные задачи” Красной Армии, Фейхвангер неожиданно замечает, что “подобно римской армии, Красная Армия считает одной из своих серьезнейших функций *колонизаторскую деятельность*, продолжение обучения населения”. От этого пассажа он еще более неожиданно переходит к разговору о том, что Красную Армию основал “*писатель* Лев Троцкий” [24, с. 75]. Далее выясняется, что именно писательство помешало Троцкому стать таким же строителем, как Сталин. Ссылка Троцкого будет упомянута далее [24, с. 83].

А теперь обратимся к тексту романа. Говоря о состоянии потерпевших поражение сторонников Лже-Нерона, Фейхвангер вдруг начинает рассуждать о ссыльных писателях, которых неожиданно стал понимать сторонник лже-императора Варрон как раз после того, как он провел не самые удачные переговоры о своем спасении. В словах Варрона трудно не услышать те же интонации, которые слышатся на страницах, осуждающих “писателя” Троцкого в “Москве 1937” [24, с. 77–89]: «И Варрон оглянулся на прошлое, вспомнил, как он затевал свое дело, свой “эксперимент”, и осудил себя за то, что мерил все западной мерой, позабыв о Востоке. Он, например, всегда считал себя дальновиднее всех, на самом же деле он с истинно римской ограниченностью не умел взглянуть за пределы империи. В сущности, он проявил себя таким же националистом, как и все прочие, надменным и уверенным в том, что Рим осчастливит мир, если займется его устройством. Теперь слишком поздно он понял, как велик мир и как мал Рим» [22, с. 319].

Разумеется, исторический роман – не политические мемуары. Но достаточно вспомнить, что расхождения между Сталиным и Троцким, в числе прочего, касались возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране (и, наоборот, возможности построения социализма в России лишь после победы мировой революции и, значит, всеобщего торжества коммунизма), как параллелизм ситуации в романе и в паре Сталин–Троцкий станет явным. Тем более, что слово “эксперимент” в рассуждениях Варрона, столь близко “социалистическому эксперименту”. Недаром сразу же после этих слов Варрон вспоминает римских писателей, отправленных в ссылку, ощущения которых становятся близки ему уже как политическому эмигранту.

Нетрудно понять воодушевление Сельвинского, который столь удачно назвал Сталина “поэтом” в своей поэме. Такой властитель-поэт действительно может “охранять бойца” из мандельштамовской “оды”.

⁶ Мы благодарны проф. ИСАА МГУ А.Б. Ковельману за консультации и обсуждение этой темы.

В цитате из письма Л. Мехлиса представлен более ранний, а потому и более ценный для нас вариант поэмы Сельвинского, когда он еще не читал книгу Фейхтвангера “Москва 1937”. В этом варианте после упоминания Радека и определения Сталина как “поэта” говорится:

Есть вожди – куртизанки народа,
Пустые бубенчики прихотей масс;
Есть вожди из лица *Нерона*,
Обердиктаторы туш и мяса;
Но есть вожди – диалектики массы...

Как видим, у Сельвинского были основания требовать напечатания своей поэмы уже через несколько дней после выхода в свет книги “Москва 1937”.

А вот как выглядит в “Москве 1937” слово “эксперимент”, да еще в сочетании с неожиданно возникшим – в римском контексте – “лже-мессией”: «Нужно хорошо себе представить этого человека, приговоренного к бездействию, вынужденного празднично наблюдать за тем, как грандиозный **эксперимент**, начатый им вместе с Лениным, превращается в некоторого рода мелкобуржуазный шреберовский сад... Троцкий бесчисленное множество раз давал волю своей безграничной ненависти и презрению к Сталину. Почему, выражая это и устно, и в печати, он не мог выразить этого в действии? Действительно ли это “невероятно”, чтобы он, человек, считавший себя единственно настоящим вождем революции, не нашел все средства достаточно хорошими для свержения “ложного мессии”, занявшего с помощью хитрости его место? Мне это кажется вполне вероятным» [24, с. 92].

Можно сказать, что в образе Троцкого как бы сливаются размышления Варрона и реальные политические действия Максима Теренция – Лже-Нерона.

Сравним портрет Троцкого в “Москве 1937” с размышлениями Варрона: «Что мог сделать Троцкий? Он мог молчать. Он мог признать себя побежденным и заявить о своей ошибке. Он мог примириться со Сталиным. Но он этого не сделал. Человек, который раньше видел то, чего не видели другие, теперь не видел того, что было видно каждому ребенку. Питание было налажено, машины работали, сырье добывалось в невиданных ранее размерах, страна электрифицирована, механизирована. Троцкий не хотел этого признать. Он заявил, что именно быстрый подъем и лихорадочные темпы строительства обуславливают непрочность этого строительства. Советский Союз – “государство Сталина”, как он его называл, – должен рано или поздно потерпеть крах и без постороннего вмешательства, и он, несомненно, потерпит крах в случае нападения на

него фашистских держав. И Троцкий раздражался вспышками беспредельной ненависти к человеку, под знаменем которого осуществлялось строительство» [24, с. 81–82].

В итоге, делает вывод Фейхтвангер, “боги на стороне победителей, Катон на стороне побежденных”, а “писатель” Троцкий выслан из страны. А вот рассуждения Варрона о своих достижениях, после которых его и Лже-Нероново государство пало: “Просто удивительно, как много мы успели за такое короткое время. Мы создали сильную, боеспособную армию, мы даже из туземных войск, с помощью римской муштры, получили хороший людской материал, мы укрепили союз с Артабаном, превратив его в надежное тыловое прикрытие. Города выглядят по-новому, в них больше порядка, в управлении нет прежней расхлябанности, оно действительно неплохо организовано. Мы научили римлян и греков, живущих здесь, смотреть на людей Востока иными глазами... Было бы очень горько, если бы все это снова рухнуло; это не должно рухнуть”.

Как напоминают эти “туземные войска” задачи Красной армии, о которых мы говорили выше. Да и Советский Союз, вернувшись на Запад, Фейхтвангер именует Востоком с большой буквы. И Ленина–Сталина сравнивает с римскими императорами: «Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин его стал Августом, его “умножителем” во всех отношениях» [24, с. 84].

А вот рассуждения римского губернатора из “Лже-Нерона”: “На опьянении можно строить ослепительную политику, но лишь на короткое время. Нерон, без сомнения, был более блестящим, если хотите, более крупным человеком, чем грубый и расчетливый старик Веспасиан. Но Нерон оставил сорок миллиардов долгу, а у Веспасиана оказалось семнадцать миллиардов накоплений... Наша эпоха склонна к опьянению. В опьянении большой соблазн. Но одно из двух: либо привести к гибели римскую цивилизацию, либо вернуться к разуму окончательно и всем, а опьянению отвести уголок в частной жизни и в искусстве. В политике ему места нет” [22, с. 220].

Итак, “Лже-Нерон” и “Москва 1937” являют собой что-то вроде диалектической пары, которую так любили советские “марксисты-ленинцы”, а постоянное сравнение советской истории с римской должно, по-видимому, быть противопоставлено лже-Риму Третьего Рейха, тем более, что на звание Третьего Рима издавна претендовала и Москва. И этот роман в сочетании с “Москвой 1937” еще более способствовал утверждению грандиозности образа Сталина в сознании далеко не примитивных людей. Тем более, что именно Сталин оставался единственным гарантом противостояния гитлеризму. В этом смысле книги Фейхтвангера были исступленным призывом к

Сталину не сделать чего-то, что могло бы сгубить этот центр мирового прогресса, как это произошло со Лже-Нероном.

К тому же, как показали сообщения агента, следившего за Фейхтвангером в сталинской Москве, где в течение года–двух один за другим вышли и “Иудейская война”, и “Лже-Нерон”, писатель вполне отдавал себе отчет в том, что происходит. Но ему очень хотелось вести прямой разговор с Вождем, чем грешили и русские писатели, и многие иностранцы. Однако на просьбу написать антифашистскую пьесу Фейхтвангер отвечал, что мечтает о постановке на сцене именно “Лже-Нерона”, а вот этого не хотел уже его собеседник. Не потому ли так скоро была изъята из обращения книга “Москва 1937”, написанная под впечатлением процесса Зиновьева, виденным из Европы, и процесса Пятакова–Радека, на котором Фейхтвангер присутствовал лично. Хотя не стоит упрощать и позицию самого Фейхтвангера, рекомендовавшего поставить в советском театре инсценировку “Лже-Нерона” [25, с. 13].

Судьбу этой пьесы, в которой неизбежно были бы узнаны детали суда над Зиновьевым–Каменевым, заметные и в романе, неизбежно постигла бы судьба “Батума” Булгакова, где нетрудно разглядеть итоги тех же процессов 1937 г., связанных, кстати, с ранней революционной деятельностью Сталина в Грузии.

Как видим, Сталину вовсе не хотелось, чтобы его внутренним миром занимались литераторы. Он сам себе был “писатель Сталин”, да и “читатель Сталин” [26].

V

Вернемся к советской литературе. Мы лишь начинаем постигать “способ чтения” Сталиным “своих” писателей. И здесь без “инсайдерской информации” не обойтись, хотя работа с внутренней перепиской советских вождей и работников идеологического фронта требует осторожного и взвешенного подхода, чтобы не принять за истину в последней инстанции некоторые особенности внутриаппаратной борьбы.

Уже неоднократно упоминавшийся нами Л. Мехлис 17 марта 1936 г. пересылает Сталину речь Пастернака на дискуссии “О формализме и натурализме”. Вот, какие слова подчеркивает Сталин на присланном ему экземпляре стенограммы: “И тут человек должен *пойти на пролом*, может быть *его камнями побьют*, но этим воздухом он должен дышать и не слушать критики, которая ему распределяет темы” [27, с. 60] (ср.[28, 29]). А в “Знамени” № 4 за тот же 1936 г., в стихах, напечатанных рядом с новогодними “из-

вестинскими”, в обращении к поэту, в котором угадываются споры с Мандельштамом, читаем:

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод,
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.
Он для тебя вода и воздух,
Он – прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.
.....
Не умиляйся, – не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям, и по плутаньям
Поймем, кого ты посетил...

Нам не дано знать, как Сталин отреагировал на подчеркнутые им слова Пастернака. Однако и приведенные слова, и еще несколько помет вождя достаточно явно связаны со стихами поэта, опубликованными чуть позже и чуть раньше. Какова бы ни была судьба этих подчеркиваний и даже их точная датировка, все равно – Сталин довольно четко выделил основные мотивы стихов Пастернака начала 1936 г. в его речи на дискуссии о формализме.

В свою очередь, и Булгаков в “Ричарде I” пытался сделать примерно то же, что и Сельвинский в своем письме Молотову. Драматург задумал “помочь” Сталину решить его внутренние проблемы путем вполне сумасшедшей идеи: совместного побега с вождем за границу. Ведь у Всесильного человека нет любви в стране советов, а у писателя есть любовь, но нет паспорта. Как бы ни относиться к подобным сюжетам (учитывая или не учитывая состояние здоровья Булгакова), сама попытка едва ли не психоаналитического подхода к внутреннему облику вождя вполне коррелирует с художественной установкой Сельвинского, выразившейся в тексте его поэмы и в письме Молотову. Но теперь разговор писателей с вождем был уже невозможен без знания грамматики и, что важнее, прагматики специфического языка кремлевских коридоров.

Документы из личного архива лишь подтверждают, что Сталин и его “сброд тонкошеих вождей” действительно вели тонкую политико-литературную игру с писателями, победитель в которой был известен заранее. Ведь задачей Сталина было вовсе не повысить литературно-философское качество славословий себе. Ему была нужна, по большей части, собачья верность клеветников. Поэтому Мандельштам после явной неудачи с “одой” “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...” неизбежно должен был, уже по окончании воронежской ссылки и получении

“минусов”, написать (едва ли не вслед за Пастернаком) свои “Стансы”:

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, вращать в леса.
Вот “Правды” первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину – не сказка,
Но только – путь без укоризн.

Это было написано 5–6 июля 1937 г. Большого нам знать не дано. Да и эти стихи стали известными лишь через много лет после гибели Мандельштама. Попытка перейти от “языка трамвайной перебранки” к “языку кремлевских коридоров” удачей для ссыльного поэта закончиться не могла. Ведь даже его современники, допущенные к сталинской трубке или в Кремль, не смогли ни напечатать, ни поставить свои “оды”. Более того, тот же Булгаков уже на смертном одре, прервав “Мастера и Маргариту” и начав практически так и ненаписанного “Ричарда I”, сказал, что теперь он будет писать “только о Нем”.

А ведь, в отличие от Мандельштама, Булгаков даже получил устную полублагодарность вождя, а момент ареста Мандельштама, как считают многие исследователи, отразился в “Мастере и Маргарите”. Таким образом, мы можем с достаточной уверенностью сказать, что поэтический, прозаический и драматургический “язык кремлевских коридоров” существовал в реальности. Другое дело, кому и как им позволялось пользоваться. Мандельштам, как видим, использовал оба варианта: и в стихах “Мы живем, под собою не чуя страны...”, где несколько переоценил свои поэтические права на разговор со Сталиным, и в “оде” “Когда б я уголь взял для высшей похвалы...”, которая не спасла его жизнь. Мандельштаму не было позволено то, что позволял себе, часто рискуя и попадая впросак, туповато-грубоватый Демьян Бедный. А Пастернак довольно долго и безуспешно искал свое место и свою партию в “двухголосой фуге”. М. Булгаков так и не увидел на сцене своего “Батума” и “Мастера” в печати. Л. Фейхтвангеру пришлось пережить не только скорый запрет своей книги “Москва. 1937”, но и запрет своих антифашистских романов после заключения пакта “Молотов–Риббентроп”. А Сельвинского, помимо окончательного запрета “Сталина”, ждало еще немало неприятностей, связанных с героем его поэмы. Но такова, по-видимому, судьба сочинений, обращенных к диктаторам: политическая прагматика всегда торжествует над поэтикой.

Здесь перед исследователями встает и, по мере публикации новых документов, будет вставать вопрос о роли прагматики и поэтики в сочинениях, так или иначе связанных с советскими вождя-

ми. И даже еще более сложная проблема – соотношения официальной и неофициальной литературы в истории словесности советского периода. Ведь не секрет, что большинство названных здесь литераторов относились к кумирам интеллигенции своего времени. А Б. Пастернак и О. Мандельштам остаются ими и поныне. Между тем, даже приведенные здесь немногочисленные примеры показывают, что новые документы – свидетельства о тайном слое взаимоотношений писателей и вождей, или, как мы уже говорили в самом начале, “поэтов и палачей”, – могут и должны привести к построению значительно более адекватной истории советской литературы, свободной от априорных схем и классификаций, как канувших в Лету, так и новейших. Мало того, эти документы и сочинения сами становятся исторической базой для написания новой истории литературы советского периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Кацис Л.* Булгаков и Сталин (еще раз о “Мастере” и “Батуме”) // Контрапункт. Книга статей памяти Галины Андреевны Белой. М., 2005.
2. *Кацис Л.* Поэт и палач (Опыт прочтения “сталинских” стихов) // Литературное обозрение. 1991. № 1.
3. *Мандельштам Н.* Книга третья. Париж. 1987.
4. *Максименков Л.* Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1936). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4.
5. Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956. Сост. Л.В. Максименков. М., 2005.
6. *Чуковский К.* Дневник. 1922–1935. // Чуковский К. Собр. соч. В 15 т. Т. 12. М., 2006.
7. *Кацис Л.* К поэтическим взаимоотношениям Б. Пастернака и О. Мандельштама // Пастернаковский сборник. П. М., 1998.
8. *Герштейн Э.* Мемуары. СПб., 1998.
9. *Ронен О.* Шрам. Вторая книга из города Энн. Сб. эссе. СПб., 2007.
10. *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005.
11. *Мандельштам Н.* Воспоминания. М., 1999.
12. *Гыдов В.О.* Мандельштам и воронежские писатели (По воспоминаниям М.Я. Булавина) // Сохрани мою речь... М., 1993. № 2.
13. *Альфа (Троцкий Л.Д.)* О Демьяне Бедном (Некрологические размышления) // Бюллетень Оппозиции (большевиков-ленинцев). № 29. Июль 1932.
14. Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934.
15. *Кацис Л.* К творческой истории цикла стихотворений Б. Пастернака “Несколько стихотворений” // “Быть знаменитым некрасиво...” Пастернаковский сборник. I. М., 1991.

16. *Пастернак Б.* Полн. собр. соч. В XI т. С приложениями. Т. II. М., 2004.
17. *Придворов Д.* Об отце // Воспоминания о Демьяне Бедном. М., 1966.
18. *Лекманов О.* “Стихи о неизвестном солдате”. Повод // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2006.
19. Наше наследие в эпистолярном жанре с краткими комментариями Юрия Мурзина. М., 2006.
20. *Павлов М.* Бродский в Лондоне, июль 1991 // Сохрани мою речь. Воспоминания. Материалы к биографии. Современники. № 3/2. М., 2000.
21. Сталин и Каганович. Переписка 1931–1936 гг. М., 2001.
22. *Фейхтвангер Л.* Лже-Нерон. Роман // *Фейхтвангер Л.* Лже-Нерон. Испанская баллада. М., 1969.
23. Нерон // Еврейская энциклопедия. Брокгауз-Ефрон. В XVI т. Т. XI.
24. *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. М., 1937.
25. *Гольденберг М.* Был ли обманут Фейхтвангер? // Литературная газета. 1989. № 40.
26. *Вайскопф М.* Писатель Сталин. М., 2004.
27. Стенограмма выступления Б. Пастернака с пометами И. Сталина // В кругу “Живаго”. Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies. Stanford. Ca. 2000. Vol. 22.
28. *Галушкин А.* Сталин читает Пастернака // В кругу “Живаго”. Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies. Stanford. Ca. 2000. Vol. 22.
29. *Флейшман Л.* Еще раз о Пастернаке и Сталине. К публикации А.Ю. Галушкина // В кругу “Живаго”. Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies. Stanford. Ca. 2000. Vol. 22.